

С.М. Городецкий

ВОСПОМИНАНИЯ О С.А. ЕСЕНИНЕ

<...> Есенин появляется в Питере.

В автобиографии говорит он об этом кратко: «19 лет попал в Петербург проездом в Ревель. Зашел к Блоку. Блок свел с Городецким, Городецкий с Клюевым. Стихи мои произвели большое впечатление».

Я не помню подробностей первой встречи. Вернее всего, Есенин пришел ко мне с запиской Блока. И я и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом. В только что выпущенном 1-м альманахе русских и инославянских писателей «Велесе» уже были напечатаны стихи Клюева. Блок тогда еще высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов.

Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть свои стихи, он торопился спеть рязанские прибаски, канавушки и страдания. Тут восторги удвоились. Тут же мне Есенин сказал, что, только прочитав мою «Ярь», он узнал, что можно так писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и образность уже литературное искусство. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очаровате-

лен со своим звонким тогда озорным голосом, в барашком вьющихся льняных волосах, — которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр, — синеглазый. Таким я его нарисовал в первые же дни и повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским, — а дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева. Оба портрета пропали вместе с моим архивом, но портрет Есенина можно разглядеть на фотографии Мурашёва.

<...> Есенин поселился у меня и прожил несколько месяцев. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам.

Что я дал ему в этот первый, решающий период? Положительного — только одно: осознание первого успеха, признание его мастерства и права на работу, поощрение, ласку и любовь друга. Отрицательного — много больше: всё, что воспитала во мне тогдашняя питерская литература: эстетику рабской деревни, красоту тлена и безвыходного бунта. На почве моей поэзии, так же как Блока и Ремизова, Есенин мог только утвердиться во всех тональностях «Радуницы», слышанных им еще в деревне. Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества. Нам казалось, что празднуем мы, а на самом деле торжествовала свою победу идеалистическая философия, теория нисхождения Вячеслава Иванова, который также весьма сочувственно отнесся к Есенину.

Но была еще одна сила, которая обволокла Есенина идеализмом. Это Николай Клюев.

К этому времени он был уже известен в наших кругах. Деревенская идеалистика дала в нем благодаря его таланту самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им.

Клюев приехал в Питер этой же зимой (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. Исто-

рия их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги, которую еще рано писать. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам Севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы деревенских образов, которую нес в себе и Есенин, и все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильнее всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»

Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта всё росла и крепла. В нее входили кроме Клюева и Есенина мой сосед по камере в «Крестах», ученик и друг Борис Верхоустинский, Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были ярко талантливы, все были объединены системой песенно-былинных образов. Кроме меня верховодил в этой группе Алексей Ремизов, и не был чуждым ей Вячеслав Иванов и художник Рерих. Блок чуждался этого объединения. Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас. Я называл всю эту компанию, включая сюда и предполагавшееся издательство, — «Краса». Общее выступление у нас было только одно, в Тенишевском училище — вечер «Краса». Выступали: Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания. Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях. Был объявлен сборник «Краса» с участием всей группы. В неосуществившемся же издательстве «Краса» были объяв-

лены первые книги Есенина. Первая – «Рязанские п<ри>баски, канавушки и страдания». И вторая – «Радуница». «Радуницу» Есенин посвятил мне, но в издании Аверьянова, к которому я направил Есенина, когда выяснилось, что своего издательства у нас не будет, книжка вышла без посвящения.

Говоря о «Красе», необходимо указать на талантливый сатирический отзыв о нашем вечере в журнале «Рудин», где была также чудесная карикатура: мы все в виде сиринов сидим на ветке, и Есенин там очень похож.

В общем, «Краса» просуществовала недолго. Клюев всё больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими, моими «врагами», вероятно, бывал там и Есенин. Мне ничего не известно про этот период есенинской жизни.

Весну и лето 16-го года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Знаю, что они уже выступали в это время по салонам. Угар войны проходил, в Питере становилось душно, и осенью 16-го года я уехал в Турецкую Армению на фронт. В самый момент отъезда, когда я уже собирал вещи, вошли Клюев и Есенин. Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддёвках, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодовольные. Всё же я им обрадовался, мы расцеловались и, после медоточивых слов Клюева, попрощались. Как оказалось, надолго. С Есениным – до 21-го года, а с Клюевым и того больше. С этого момента пути мои с Есениным разошлись. Впереди, как теперь выяснилось, оставались только одиночные встречи, правда, с прорывами в глубокую близость, но близость на базе воспоминаний, а не работы рядом. <...>

Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был его выход из пастушества, из мужичка, из поддёвки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Его кафе было для него символом

Европы. Поскольку в его сознании был разрыв между искусством и жизнью, постольку он хотел – какими угодно средствами – подняться в искусство. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя и над Клюевым, и над всеми другими поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил мне: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле, в быту, он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость внешнего дендизма. И хитрый Клюев очень понимал значение всех этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в «Четвертом Риме»: «Не хочу укрывать цилиндром лесного черта рога!»; «Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробойну в барке души!»; «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу!»; «Пилюрыбой кружит Есенин!» Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу.

Но увы! Даже Клюев не понял, что яд лежал глубже, что Есенин был отравлен сильнее, что опасность смертельного исхода заболевания идеализмом была ближе. Никто этого не понимал. Иначе бы есенинские плакальщики должны были скорбеть не о том, что имажинизм одолел Есенина, а о том, что имажинизм был слишком слаб, чтоб одолеть Есенина и вывести его – куда, всё равно – только б из деревенского идеализма.

Но, впрочем, ни Европа, ни Америка не исцелили Есенина. Там только обострилось противоречие между заколдованным миром его творчества и повседневностью. Слишком цельной он был натурой, чтоб, надломившись, не сломаться до конца. <...>